Светлой памяти моих родителей посвящаю

Когда мама отправляла отца в выходной день в магазин за покупками, то обычно с ним шла я. На моих старших братьев в этом деле — присмотреть, чтобы отец не общался с выпивающими дядями — надежды не было. Во-первых, им эта бдительность ни к чему. Им важнее друзья-подружки, а во-вторых, мужская солидарность не позволит «сдать» его маме, а потому, если и выпьет папа с приятелями рюмку одну-другую-третью, соврут, не моргнув глазом. Мол, ничего не видели, не слышали и вообще…

Я же… совсем другое дело! Я — мамина гордость: октябренок; светло-русые аккуратные косички; «ореховые глаза» — чистые-чистые… Я всегда говорю и родителям, и учителям правду. Да и папина я любимица: младшая, ласковая, и характером, и внешне на него похожая.

В тот солнечный майский день пошли обычным путем: мясная лавка, потом — овощная, потом — хлебная. Тут мы раньше обычно на некоторое время расставались. Папа покупал мне в палатке бутылку лимонада, кулек пряников и усаживал

на скамейку. Сиди, мол, радуйся жизни, а я скоро приду. Я пила щекочущий язык лимонад, бросала кусочки пряника дворовым собакам — и мне было хорошо. Я ничего не боялась. Знала — папа рядом. Если крикну — все бросит и примчится... Но звать на помощь ни разу не приходилось. Меня здесь все знали и не обижали. Да и папа быстро возвращался, брал меня за руку, и мы шли домой. Папа шутил, смеялся, был он какой-то веселый, смотрел смело и молодо, как на первой фронтовой фотографии.

В этот раз он почему-то не оставил меня на скамейке, а взял с собой — «поговорить с дядями». Мы вошли в дощатое синее строение, на котором написано большими коричневыми буквами — «ПИВНАЯ». Шум, гам, мужские лица, какой-то непривычный горьковатый запах...

Папа подвел меня к высокому круглому столу и сказал двум мужчинам коротко:

— Дочка. Моя.

И пошел к прилавку. Папины товарищи посмотрели на меня с уважением и предложили табурет. Улыбаясь, спросили:

— Будешь пить пиво?

— Нет, — мотнула я головой, — оно горькое. Старший брат Валера давал мне попробовать, оно — горькое. Я лимонад люблю.

Папа вернулся с кружками пива для друзей и с лимонадом для меня. А еще папин товарищ купил мне свернутые в трубочку вафли. Потом они разливали в стаканы водку и, коротко сказав друг другу «со свиданьицем!» или «будем!», выпивали ее. Потом неторопливо пили пиво, закусывали длинными кусочками рыбы со смешным названием «тарань», смеялись, курили папиросы и говорили, говорили...

А я сидела на табуретке, пила лимонад и смотрела в полутемный угол. Там два дяди без ног сидели на своих коротких дощечках с колесиками и тоже, как мой папа с друзьями, пили пиво. Их стеклянные кружки стояли на картонном ящике, на нем же лежали рыбки «тарань». Когда безногие дяди тянулись друг к другу, чтобы чокнуться кружками, медали на их груди тихонько позвякивали...

Папа и его друзья — высоко, надо мной, а те, что в углу — внизу. Папа и его друзья видели одно, то, что сверху — лица, улыбки, румяное лицо буфетчицы, а я и те дяди — другое: ноги, сумки, бидоны. А еще — мы видели друг друга, и по-заговорщически улыбались друг другу...

Возвращались домой, как всегда, весело. Папа одной рукой держал мою руку, другой — сумки; глаза его смотрели бодро и смело, как на первой военной фотографии.

Мама встретила нас с улыбкой:

— Целую гору продуктов приволокли, добытчики! Мойте скорее руки — и к столу. Обед готов.

Обедать мы с папой не хотели, но маму обижать не стали и поплелись к умывальнику. Вот тут-то мама и принахмурилась, кивнула мне головой: пойдем на кухню. Плотно закрыв дверь, наклонилась ко мне и глянула в глаза.

— Папа пил? Пил водку?

Я почему-то вспомнила тех людей, что сидели на дощечках с колесиками, и ответила тихо:

— Нет, не пил.

Мама выпрямилась и еще раз спросила — строго:

— Папа пил водку?

И я не выдержала, крикнула:

— Нет, не пил! Нет, папа не пил!

Потом вечером уже папа признался — наедине — маме, что, мол, махнул с приятелями стопочку-другую, как-никак, День Победы на носу...

Перед сном — я уже была в постели — мама еще раз спросила меня, пил ли папа водку. На глазах у меня почему-то вскипели слезы, и я прошептала:

— Нет, папа не пил...

ПАРОМ

— Вода — большая! Какая большая вода! — с чувством повторяла мама. Мы с Сережкой переглянулись. Что маму так встревожило? За окном мягко скользящего автобуса тянулась безмятежная гладь водохранилища. Мы с братом рады были этой поездке и этой красоте. Мама редко выбиралась с нами за город. «Я — городская, — частенько твердила она. — Вы уж с папой...»

Да мы и так... За грибами — с папой, на речку купаться — с папой, на лодке в пруду кататься или на качелях в парке качаться — тоже не с мамой. Она целыми днями пропадала в школе. Наверное, тысячу детей выучила, а может, и больше. А нам, ее детям, хотелось простого с нею общения, и, конечно же, безраздельного. Или — мы, или... Когда мы поехали в Углич (на целых два дня в Дом отдыха!), — это была наша маленькая победа. Решено: и купаемся, и загораем, и в музеи ходим, и книжки читаем только с мамой. Мы ни разу не были в известном старинном городе. Правда, о нем нам много рассказывала мама.

— Кремль посмотрите, кремль! Это — главное! Про остальное мама в автобусе расскажет, — отмахивались они от наших всяких многих-многих «как», «где» и «почему».

Слушать маму — одно удовольствие, рассказчица она — отменная. Но сегодня она все время сбивается, запинается. И опять с какой-то тоской говорит о большой воде. Но мы уже с Сережкой слушаем маму вполуха — и вот уже несемся к берегу наперегонки, на ходу скидывая одежку...

Мы барахтались в воде, а мама сидела на покатом зеленом берегу и читала книгу, поглядывая на нас. Когда раздались истошные крики играющих на мелководье карапузов, она первая подскочила к детям и подхватила малышей на руки. Я же и Сережка наслаждались купанием, ведь нас младенческие крики не касались. Когда мы проголодались да умаялись, вспомнили про маму. Ее на прежнем месте не было. Она почему-то стояла высоко на берегу и плакала. Как же так!.. Маме плакать не положено! Родители не плакали никогда! На все расспросы мама слабо махнула рукой и повела обедать.

Вечером, налюбовавшись кремлем, побывав в большом музее, мы все-таки стали тормошить маму:

— Почему ты не плавала? Почему ты плакала? Почему ты не веселишься с нами?

— Как так вышло, — задумчиво проговорила мама, — что путевки в Дом отдыха дали именно сюда. Понимаю: я бы все равно рассказала про паром, но попозже... Ваши старшие братья уже знают эту страшную историю... Что ж, выходит, и вам придется узнать ее.

...Это было начало войны. Ваш папа ушел на фронт, а я с тремя ма-

ленькими детьми и бабушкой осталась в Угодском Заводе. Когда фронт приблизился и фашисты прорвали оборону, началась спешная эвакуация семей фронтовиков с детьми. Им выдали пропуска на паром, потому что железнодорожную станцию прицельно обстреливали вражеские орудия. Собрав два узла с вещами, мы спешно отправились к причалу. Там уже шла посадка на паром — спокойно и деловито. И вдруг в одну минуту все изменилось: люди, услышав грохот канонады, оттеснили охрану и бросились к единственному спасению, парому.

— Сажаем на борт только женщин с детьми! — кричал уставший красноармеец. Но страх пленил слабых людей — и началась паника. В этой панике нас тоже оттеснили далеко в сторону. Паром тяжело осел — и трап пришлось убрать.

— Вот наш пропуск!.. — кричала я, протискиваясь на причал. Но паром качнулся и медленно отплыл от берега.

Плакала бабушка, плакала я, ваша мама, плакал шестилетний Валера, плакали трехлетняя Рита и годовалый Саша. Вдруг из-за облака вынырнул самолет с черными крестами на крыльях и спикировал на паром. Взлетел фонтан воды... Еще — фонтан... Кто-то сорвал блузку и стал ею размахивать, мол, здесь дети и женщины!.. Но фашист не унимался: обстрелял из пулемета косогор, на котором столпились люди, ждущие еще один рейс парома.

— Бегите под деревья, ложитесь! — кричал охрипший красноармеец — дежурный по причалу.

Все бросились на землю. Я, помню, шептала маленькому Саше: «Тихо, тихо!» Как будто вражеский летчик мог слышать его плач. А потом мы увидели, что паром, который был уже посередине водохранилища, страшно накренился и погружается в воду. А вместе с ним, понятное дело, и люди...

Очнулась я дома. Оказывается, оглушило взрывом бомбы, и я потеряла сознание. Бабушка потом рассказывала, что всех пострадавших на берегу на деревенской телеге развозили по бомбоубежищам красноармеец и два каких-то старика. И назвался боец тот кому-то то ли Колей, то ли Толей... А уж сказал ли он командирам своим, что подбил из установленного на тачанке пулемета того летающего фашистского изверга, про то, золотые мои, не знаю...

Захватчики так и не взяли Углич. Его остановили наши герои, а потом и вовсе прогнали с этой вот родной земли!

...Да, война для нас была раньше только в кино. А теперь вот она ожила и в этом мамином рассказе. Мы прижались к ней, самой любимой, самой родной, так хотелось ее успокоить и утешить. А мама посмотрела на нас и сказала отчетливо и негромко:

— Больше войны не будет ни-ког-да!

* * *

Это единственное, что мама рассказала нам о давней незабываемой военной поре.

Давно уж нет на белом свете наших родителей. Давно мы, их дети, пересказываем своим детям и внукам фронтовые были отца и эту — почти что обычную в лихую годину Великой войны — житейскую историю. Давно вместе и поодиночке со слезами на глазах вновь и вновь переживаем драму, очевидицей которой некогда случилось быть и нашей маме,

двадцатисемилетней женщине с тремя малолетними детьми на руках. Увидишь такую мамочку на аллее парка сегодня и невольно подумаешь: «Так молода! И... до чего же смела! Троих растит!..» И еще, может быть, подумаешь о том, что ждет ее впереди — в любые времена нелегка материнская доля.

ВЬЮНОК

Звали жеребенка просто — Вьюнок. Кто и почему его так назвал, теперь вряд ли кто скажет, может быть, взрослые — хозяева или соседи, — а может, и ребятишки, они мастера давать прозвища кому угодно...

Мало-помалу рос да рос Вьюнок и, в конце концов, превратился в молодого коня. Его хозяин, зоотехник Николай Николаевич, слыл человеком образованным и веселым. Надумал он однажды солнечным майским утром переименовать своего любимца; прикинул так, прикинул этак, что бы такое историческое подыскать... И решил: лучше мифического силача Самсона ничего подходящего для молодого коня нет. Что за побежка, что за стать!.. Уже две медали вручили на сельскохозяйственной выставке Николаю Николаевичу за всяческие достоинства питомца. Правда, новое прозвище сам Вьюнок никак не хотел признавать; ты — ему: «Самсон, Самсон...», а он даже ухом не шевельнет. И еще одно обстоятельство ставило зоотехника в неловкое положение: никак не хотел конь, чтобы на нем восседал кто-нибудь из приезжих начальников, любителей погарцевать, скажем, на таком вот кауром жеребце. Ногу в стремя кто-то из них поставит, лихо вскочит в седло, тронет поводья, а Вьюнок — на дыбы, с места да в галоп! И вот уже горе-всадник с земли встает, обиженно травинки сухие со штанов отряхивает и что-то под нос себе бурчит... А кого, скажите, винить? Спросил бы прежде хозяина, Николая Николаевича, посоветовался... Но советоваться с подчиненными начальники не очень-то любили, а советовать — да. Вот по их указанию и определили Вьюнка на самые простые хозяйственные работы — возить сено с луга на большой телеге, дрова из леса, родниковую воду в деревянных бочках для работающих в поле крестьян, огороды пахать... С переменой судьбы конь легко смирился: а что?.. работа как работа. Люди вместе с ним трудились обыкновенные, добрые; к примеру, достают из торбочки краюху хлеба, пополам ломают: себе — половину, коню — половину; потом Вьюнок свеколкой похрумкивает или сочную траву рядом щиплет (пасется), а человек хрустит зеленоперым лучком да вареным яйцом закусывает. А вечером наступает наилучшая для коня пора. Старшие ребятишки купают его в речке, расчесывают деревянным гребнем гриву, тихонечко приговаривают: «Вьюнок наш миленький! Красавец наш!» И щекой к его губам припадают ласково... Чем не житье!

Так и проходил в посильном труде и счастливом покое год за годом.

И кто же знал, что однажды вслед за ранним алым восходом придет на родные летние просторы нежданное огромное горе.

Со знакомых лиц разом пропали улыбки, затих в округе смех.

Днем и ночью слышались в закатной стороне раскаты странного грома, от которого нервно вздрагивала земля.

Из-за дальних холмов по пыльной дороге потянулись обозы с перебинтованными и стонущими людьми.

Как-то раз в село приехал пожилой командир с красными петлицами на вороте новой гимнастерки и объявил, что он по приказу свыше про-

водит *реквизицию* всех годных к службе лошадей для нужд действующей армии.

Вот так нежданно-негаданно и случился новый поворот в судьбе Вьюнка.

...Путь выдался недолгий, всего-то сутки. Правда, поначалу, первых часа два-три, все лошади тесно заполонившие товарный вагон, то и дело гулко постукивали подкованными копытами по деревянному полу, прядали ушами, вразнобой всхрапывали, а то и тревожно ржали, потом постепенно поутихли, опустили головы, задремали...

Рассвет у Вьюнка всегда начинался с охапки пахучего сена, а это хмурое, сверкающее дальними вспышками утро началось по-новому: шумно откатилась в сторону широкая дверь вагона, люди в линялых гимнастерках положили на порог длинные деревянные сходни, и один из них, усмехнувшись в усы, скомандовал:

— Выходи строиться!

Лошадей явно ждали: поодаль толпились какие-то бойцы и командиры, с нетерпением поглядывали на хвостатое пополнение.

Сопровождавшая лошадей команда — знакомые бойцы — взяла своих подопечных за уздечки (по две в каждую руку) и построилась вдоль состава, принимающая сторона стала напротив, на пыльной привокзальной площади.

— Вьюнок, ты ли? — растерянно окликнул коня человеческий голос. — Ты?

От группы командиров, стоявших в сторонке, отделился человек и скорым шагом направился к Вьюнку. Он сразу узнал его. Это был Николай Николаевич. Только какой-то странный резкий запах сопровождал его.

— Золотой мой! Ты! Надо же... И тавро на ухе твое...

Боец отпустил уздечку, и конь зацокал копытами вслед за Николаем Николаевичем, капитаном в гимнастерке с малиновыми петлицами.

Понятное дело, что и здесь, на фронте, на такого статного коня с интересом поглядывали начальники. Одни просто трепали по холке, протягивали на ладони сухари, кусочки сахара, другие уговаривали капитана из ветеринарной службы передать Вьюнка в их часть или подразделение, суля выгоды и хозяину, и коню, третьи чуть не угрожали, мол, отдай животину, тебе же легче станет... Но были у Николая Николаевича и его четвероногого друга и тайные заступники, так что разлучить давних друзей никому не удавалось.

Не раз и не два попадали капитан и его конь в разные передряги, но, слава Богу, выходили из них живыми. А большего и не нужно на войне...

Вот, скажем, получил полк приказ готовиться к атаке, а время и место для наступления не самое лучшее. На рассвете идти из широкой низины на хорошо укрепленные врагом холмы — дело, можно сказать, гибельное. Но приказы не обсуждают, командованию дивизии, а может, даже и корпуса, виднее, где наступать такому-то полку и когда, там ведь вырабатывается большой замысел военной операции.

Командиры проверили наличие у бойцов оружия, боеприпасов, необходимой амуниции, приказали отвести полевые кухни в лесистую лощину в тылу, верховых и тягловых лошадей — в узкий глинистый овраг, чтобы спрятать их от бомбежки. К тому же враг наверняка начнет огрызаться: могут сначала огнем ударить из минометов и пулеметов по нашим траншеям.

...В семь ноль-ноль грянуло и поплыло над низиной, потом над пригорками «ура» — полк пошел в атаку всеми наличными силами. Уже изрядно удалось продвинуться поредевшим цепям бойцов. И вновь шквальный минометный и пулеметный огонь прижал их к земле. Но вновь вставали по команде и вновь залегали... И только к одиннадцати часам удалось захватить нашим воинам господствующие высоты. Когда стало ясно, что с холмов полк уже не хлынет вспять, а будет помалу, упорно продвигаться вперед, капитан с группой бойцов подогнал из тыла лошадей и вместе с медсестрами стал вытаскивать раненых с поля боя, укладывать их бережно на телеги, заранее умощенные дырявыми шинелями, изношенными ватниками, соломой и прошлогодней травой — и поскорее, поскорее в лазарет! Тут уж ветработник не отделял себя от медиков — дело-то общее, чрезвычайное! Сил не жалей — спасай людей! Как отмечал про себя Николай Николаевич, Вьюнок тоже ни на минуту не отлынивал от напряженного совместного труда. Раз за разом уходили скорые обозы в тыл, раз за разом возвращались, облегченные, и вновь — погрузка стонущих от боли бойцов, и вновь — уплывающие одна за другой по кочковатому полю телеги, и вновь... А там уж, когда командиры подсчитали потери и захваченные в бою трофеи, когда поредевший полк на скорую руку обосновался в полуразрушенных вражеских укреплениях, и к возвышенностям подтянулись полевые кухни, Николай Николаевич отправился на свидание с Вьюнком. Как он? Не сбилась ли, к примеру, подкова? Нашел ли себе какой-нибудь прокорм? Да и вообще постоять рядом с ним, дать гостинчик, похлопать по крупу, привести в порядок гриву — милое дело.

...Молодой усталый подполковник оглядел строй отличившихся на поле боя и, увидев опаздывавшего капитана, не по уставу махнул ему рукой, мол, давай-давай становись...

— Так вот, братцы мои... — опять же не по-уставному обратился он к бойцам и командирам. — Все представлены к правительственным наградам. По заслугам, считаю я. Приказ выполнен...

Получать свои награды бойцы отправлялись небольшими группами, боевые позиции всегда должны быть надежно прикрыты. Николай Николаевич выбрал себе в попутчики Василия Ананьевича, пожилого сержанта. С ним они, случалось, неспешно толковали о том и о сем, вспоминали мирные денечки, тем более, что оба родом были из-под Костромы, знатного русского города. Добираться до командного пункта дивизии было, в общем-то, просто: следовало пересечь наискосок большое поле, а за ним — березовый лесок... Земляки решили накануне, что на командный пункт надо явиться солидно; в восьмом часу утра бережно оседлали двух коней — Ворика и Вьюнка — и тронулись в недальний путь. У самой у опушки над головами что-то противно и ноюще загудело. «Самолет! И не наш! У наших звук другой»... — мигом поняли всадники. «Мессершмитт» пронесся на бреющем полете раз, потом еще раз... «В третий или четвертый раз несдобровать!.. — сообразил Николай Николаевич. — Спешиваться! Немедленно!» Они соскочили с лошадей и подняли головы. Растянутый в улыбке рот фашиста-летчика, его беспощадные холодные глаза навсегда впечатались в память Николая Николаевича. «Конец! — подумалось. — Всё!»

Пулеметная очередь... Еще одна... Мимо!

И самолет пошел на новый круг...

Николай Николаевич оглянулся, ища глазами хоть какую-то кочку, хоть какой-то бугорок... Мостик! Над высохшим руслом заросшего травой ручья горбился бревенчатый мостик!

— Вася, бежим туда!

Он стегнул плеточкой коней, прикрикнул: «Домой!» и рванул к спасительному укрытию, за ним, шумно дыша, бежал сержант…

Мостик был невысок и невелик, но спрятаться двоим можно вполне.

— Заползай поглубже!

— Да я же постирал одежку! И — в грязь? Нет!

Очередь стеганула по надраенным сапогам, по чистым галифе, по чистой гимнастерке Василия… Что-то резко ударило капитана в бок — и он потерял сознание.

Кто бы и где бы искал земляков, если бы не прибежавший к бойцам Вьюнок! Он бил копытом в землю, ржал, но в руки не давался, убегал по направлению к леску, возвращался и снова ржал…

— Надо идти за конем — искать наших! — догадались боевые товарищи. — Что-то случилось…

А когда конь уверился, что его поняли, то помчался через поле, добежал до мостика — и взвился на дыбы!

Как ни удивительно, земляки остались живы. Правда, Николай Николаевич вернулся к своим из лазарета через две недели, а Василий Ананьевич провалялся в тыловом госпитале около года и был демобилизован из армии по ранению.

А сколько еще историй приключалось с Вьюнком и его другом-капитаном, о том и не рассказать. Война — дело долгое, опасное и трудное.

А потом наступил мир. Какое славное наступило время! И в этом времени надолго продлилась неразлучная судьба доброго человека и доброго коня.